



XXIX. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД

Вскоре после отъезда Ольги Сократовны Чернышевский в сентябре 1866 года был отправлен по предписанию коменданта Нерчинского завода из Кадаинского рудника в Александровский завод, расположенный неподалеку от Кадаи.

По пути к заводу несколько сел, зимовья для скота и степи, степи, чуть фиолетовые в ясный осенний день. В отдалении по сторонам возвышались темные горы.

«Дорога была хорошая, — писал он жене, — погода ясная. Из Дона на следующую станцию вез меня тот самый ящик, который вез тебя».

Александровский завод. Кругом сопки и глухой таежный лес. Большое село, выросшее вокруг серебро-свинцово-плавильного завода, на котором работали преимущественно ссыльнопоселенцы и каторжане, заключенные в местном остроге.

Сначала Чернышевского поместили в одной из комнат в доме «полиции». По соседству с ним были размещены участники каракозовского дела — Шаганов, Николаев и другие, а также польские повстанцы.

«Познакомились мы с Чернышевским далеко, очень далеко от всяких культурных центров, в глуши, в За-

байкальской области...» — пишет автор воспоминаний о пребывании Н. Г. Чернышевского на каторге — П. Ф. Николаев.

В момент их знакомства Николаеву было двадцать два года. «Мы — нас было шесть человек — только что вошли в комнату, в которой должны были жить, думать, страдать и, если сумеем, наслаждаться жизнью целых пять лет. Мы беседовали с обитателями дома, поселившимися там раньше нас. Разговор тянулся достаточно вяло, как всегда бывает между совсем незнакомыми людьми, которым, однако, придется прожить буквально бок-о-бок, кто знает, быть может и целую жизнь. Вялости и некоторой принужденности разговора способствовало и то обстоятельство, что вновь прибывшие не в малом смущении поглядывали на дверь, в которую, как мы знали, скоро должен был войти Николай Гаврилович. Мы, пожалуй, боялись его, пока не знали; во всяком случае конфузились. Так бояться строгого, но любимого учителя...

Думалось о том, что такое мы в сравнении с ним... Мы, юнцы, — старшему-то из нас было едва 25 лет... как мы чувствовали себя ничтожными по сравнению с ним, автором «Примечаний к Миллю», статей об общине, автором «Что делать?»!.. И вот он вошел... При нашем настроении благоговейного трепета мы инстинктивно, сами о том не думая, ждали от Николая Гавриловича чего-то героического... в глазах, в выражении лица, — одним словом, чего-нибудь необычного. И увидели самое обыкновенное лицо, бледное, с тонкими чертами, с полуслепыми серыми глазами, в золотых очках, с жиденькой белокурой бородкой, с длинными, несколько спутанными волосами... Как теперь вижу его в своем неизменном халатике на белом барашке, с которым он расставался только в сильные жары,

в мягких валенках, в маленькой черной барашковой шапке... Мы были разочарованы и — успокоены. Как только он вошел, так и легко стало. Если бы мы могли тогда вслух выразить наше впечатление, то, наверное, оно вылилось бы в восклицании: «Да какой же он простой!» Простой — именно это и было настоящее слово. И чем больше мы узнавали его, тем для нас яснее становилось, что в этой именно простоте и таилась та притягательная сила, которую чувствовали все, кому пришлось узнать его...»

В июне 1867 года, по окончании срока испытваемости, Чернышевскому разрешили жить на вольной квартире.

«Проезжая через Александровский завод, — писал Николай Гаврилович жене 27 июня, — ты, быть может, заметила домик, стоящий прямо против комендантского дома; он принадлежит одному из дьячков здешней церкви. Я живу теперь у этого старичка, в этом домике. По одну сторону сеней помещается хозяин со своим семейством; по другую сторону, окнами на улицу, моя комната...»

В правом углу комнаты поставили кровать, покрытую серым одеялом. В простенке между окнами помещился стол для работы и книг. На другом столе, за которым Чернышевский обедал, стоял глиняный кувшин с водой и чашка. На гвоздях он развесил свою одежду: пиджак, войлочную шляпу, мерлушковый тулупчик. Середину комнаты занимала большая печь.

Вскоре хозяин дома разрешил Чернышевскому пользоваться и второй комнатой, где Николай Гаврилович стал заниматься с детьми местных жителей¹.

¹ Некоторые из этих «вольнослушателей»-учеников Чернышевского дожили до тридцатых и сороковых годов нашего века.

Он часто выходил с книгой и с удочкой в руках к реке Газимур, протекавшей у Александровского завода, усаживался на берегу, забрасывал удочку и углублялся в чтение. Случалось, что проходившие мимо ребята окликали его, обращая внимание на вздрагивание поплавка.

В летние вечера выносил он на крыльцо табуретку, садился на нее и, опершись на перила крыльца, погружался в чтение или задумывался над чем-то, а книга лежала на коленях.

Дом, в котором жил Николай Гаврилович, находился в нескольких шагах от тюремного помещения, и Чернышевскому было разрешено по воскресеньям и в праздничные дни заходить в тюрьму к его товарищам. Во время этих посещений он читал им свои беллетристические произведения, рассказывал содержание задуманных повестей и романов, присутствовал при театральные представлениях.

Его сотоварищи по каторге вспоминают, что Чернышевский вел с ними продолжительные беседы на самые разнообразные темы, касавшиеся текущей политической жизни, событий далекого прошлого или важнейших вопросов науки и литературы. О чем бы ни заходила речь — о войнах, о промышленных кризисах, об античном обществе, о реформах Петра, о великих поэтах, Чернышевский всегда изумлял собеседников глубиной подхода к теме и огромными знаниями. Особенно поразил он их эрудицией и удивительной проницательностью в пору франко-прусской войны 1870 года — весь ход ее, вплоть до деталей отдельных сражений, был предугадан Николаем Гавриловичем. Часто видели его тогда погруженным в изучение карты Франции.

Он умел говорить и с простыми людьми, находя слова, прямо идущие к уму и сердцу этих людей. Вме-

сто утомительных длинных рассуждений — непринужденный оборот речи, меткая характеристика лица или события двумя-тремя яркими штрихами, точное запоминающееся сравнение

— Помните пословицу, — сказал как-то Николай Гаврилович одному из ссыльных: — «Терпи, казак, агаманом будешь». Не сейчас, конечно, а в будущем, далеко будущем; не мы, так дети наши или внуки... Атаманами будут не всегда генералы с регалиями, а явятся атаманы великого ума, убеждения, непреклонного желания в другую сторону, поверх всей настоящей жизни. Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьей крыс пугал в подземелье: человек был, не кисель с размазней... Натурально, за такими сила и будущее. А откуда они? Из простого неграмотного народа — вся сила в народе ..

Чернышевский всегда охотно откликнулся на просьбы разъяснить тот или иной недоуменный вопрос даже и в том случае, если сам в это время был погружен в работу.

— Нет, нет, оставайтесь, и будем толковать, — сказал он однажды Стахевичу, когда тот хотел удалиться, увидев, что Николай Гаврилович был занят чтением — Для меня давно уже прошло то время, когда человек с наслаждением и с жадностью увеличивает запас своих знаний. Давно уже я чувствую удовольствие не в том, чтобы накапливать знания, а в том, чтобы их распространять; мне приятно делиться своими знаниями.

Среди заключенных, кроме русских, было много поляков и два итальянца-гарибальдийца, замешанные в польском восстании. В общей камере нередко устраивались чтения, в которых принимал участие и Чернышевский. Он часто без всякой подготовки рассказывал им целые повести и отрывки из романов. Многие из

того, что он рассказывал, так и осталось незаписанным или уничтожалось после того, как записывалось. Один из заключенных вспоминал впоследствии, как удивлены были они необыкновенным даром импровизации, присущим Чернышевскому. Однажды Николай Гаврилович, держа перед собою развернутую тетрадь и смотря в нее, прочитал им длинную повесть со всевозможными многочисленными отступлениями. Однако заглянув во время чтения через плечо Чернышевского в тетрадь, сидевший с ним рядом слушатель увидел, что листы ее были совершенно чисты.

На эту способность Чернышевского к импровизации указывает и В. Г. Короленко, познакомившийся с Николаем Гавриловичем в конце восьмидесятых годов. Он подметил и еще одну черточку Чернышевского: добродушное лукавство, с каким Николай Гаврилович любил мистифицировать собеседника: «Разговаривая с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку. Кроме того, он часто, развивая какую-нибудь сложную мысль, отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая все логические мостики, облегчающие слушателю возможность легко и без труда следовать за ним, и вам приходилось делать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять из виду общей связи. Но зато, если вы понимали его шутку и не теряли нити, в его добродушно-лукавых глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения».

В томительно длинные зимние вечера заключенные, желая скоротать время, разыгрывали иной раз домашние спектакли. Сначала это были незатейливые экспромты, причем занавес заменяла простыня, декораций не было вовсе и женские роли приходилось играть мужчинам. Однажды было поставлено даже что-

то вроде комической оперы «Лиза, любящая всех...» с декорациями и кулисами. Партию Лизы исполнял обладатель густого баса. Чернышевский, заразительно хохотавший во время этого представления, обещал «театральному коллективу» написать для него несколько пьес. И он выполнил свое обещание¹.

Радушие и отзывчивость Николая Гавриловича проявлялись во всем: он охотно давал для чтения каждому желающему имевшиеся у него журналы и книги. Если заходили к нему товарищи, он не отпускал их, не напоив чаем, причем самовар ставил сам, раздувая его при помощи сапога.

Когда кончился срок каторги для Баллода и он уезжал на поселение, Чернышевский настойчиво предлагал ему свои золотые часы, единственную имевшуюся у него ценность. «Понадобятся деньги, — говорил он, — продадите, всё рублей тридцать дадут». Николаеву и Стахевичу, при тех же обстоятельствах, он предлагал свои энциклопедические справочники, хотя обходиться без словарей ему самому было весьма трудно. «Когда будете в состоянии, — заметил Николай Гаврилович, — то выпишите новое издание для меня». Разумеется, ни тот, ни другой не захотели лишиться Чернышевского ценных пособий для работы и отказались от подарка.

Часто ссыльные обращались к нему за окончательным разрешением спорных вопросов, считая его мнение самым веским и справедливым. За ним утвердилось прозвище Стержень добродетели. Повседневные работы для своих нужд — колку дров, топку печей,

¹ Одна из этих пьес — «Мастерица варить кашу» — с успехом идет в наши дни на сцене. Впервые эта пьеса была представлена на самодеятельной сцене политическими ссыльными Александровского завода.

чистку картофеля для кухни, доставку воды из реки и тому подобное — заключенные исполняли по очереди. Из уважения к Николаю Гавриловичу они никогда не включали его в списки работающих, составлявшиеся на каждый день. Однако Чернышевский иногда сам по-рывался принять участие в таких работах, но тогда его дружелюбно выталкивали и только изредка допускали к чистке картофеля, если он уж очень настаивал. Все знали о его неловкости, объясняющейся сильной близорукостью, к тому же им памятен был его рассказ о том, как однажды в Петербурге он попытался помочь дворнику втащить дрова на пятый этаж. «Так ловко помог, — шутливо заключил он свой рассказ, — что вся вязанка рассыпалась. Ну, разумеется, и был награжден «благодарностью» в весьма крепких выражениях».

Напоминанием об этом случае ссыльные пользовались всякий раз, когда хотели устранить его от той или иной работы. Как начнет он помогать им, так и кричат ему: «А вспомните, Стержень добродетели, дворника!»

Казалось, никакие лишения и неудобства, связанные с пребыванием в ссылке, не тяготили его. И только мысль об оставленной семье не давала покоя. «Прости меня, моя милая голубочка, — писал он Ольге Сокоратовне, — за то, что я по непрактичности характера не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя».

Его глубокое чувство любви к жене не только не угасло в разлуке, а напротив, становилось все сильнее и сильнее. Он всегда с нетерпением ждал ее писем, па-

мятные даты — день их свадьбы, день ее рождения — были праздниками для него в этом захолустье. В один из таких дней он писал Ольге Сократовне: «Милый мой друг, радость моя, единственная любовь и мысль моя Лялечка. Давно я не писал тебе так, как жаждало мое сердце. И теперь, моя милая, сдерживаю выражение моего чувства, потому что и это письмо не для чтения тебе одной, а также и другим, быть может. Пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя».

Он не устает повторять Ольге Сократовне, что, кроме любви к ней, нет и не было у него личных привязанностей с того времени, как он познакомился с ней.

А ведь прошло уже двадцать пять лет с той поры, как они встретились в первый раз. Ему нравился ее живой и веселый нрав. Он всегда любовался ее бесстрашием и удалью. Одним из любимых ее развлечений было когда-то катанье на тройках наперегонки, с бубенцами, с пеньем. Она не страшилась выезжать в лодке на взморье в бурную погоду. Однажды, когда случилось в Петербурге наводнение, она, надев мужской костюм, выехала на лодке спасать чужие вещи, плававшие по Невке.

Как умела она веселиться прежде!.. Гости их знали: где Ольга Сократовна, там всегда оживленье, шутки, смех.

Тщетно теперь убеждает он ее не горевать, не предаваться горьким раздумьям, быть беззаботно-веселой, как раньше.

Несчастья надломили Ольгу Сократовну. Вечная тревога за участь мужа, беспокойство за его здоровье, постоянная нужда, обида за сыновей, назойливые преследования полиции, утраченные надежды на возможность возвращения Николая Гавриловича из ссылки —

все это неузнаваемо изменило ее характер. Все чаще вспоминала она стих Некрасова: «Тяжелый крест достался ей на долю».

В Забайкалье Чернышевский продолжал настойчиво и неутомимо работать, хотя скудный запас имевшихся книг был совершенно недостаточен для задуманных им произведений. Он хотел писать сочинения по политической экономии, по истории, но эти попытки неизбежно прекращались из-за отсутствия необходимых пособий. «Я пробовал писать сочинения по политической экономии. Начал, пишу, дохожу до такого пункта, где надо бы мне навести справку в таких-то книгах, — их нет, — с горечью говорил он Стахевичу. — Ну, хорошо, думаю, этот пункт обойду как-нибудь; продолжаю опять, дохожу до другого пункта, о котором необходимо справиться, а нужных книг опять нет. Вижу — ничего не выходит, так и оставил эту работу».

Творческий труд его здесь проходил в мучительных условиях, и совершенно неудивительно поэтому, что многое осталось незавершенным, рукописи обрывались на полуслове, многое сжигалось, замыслы умирали, едва блеснув, и вновь рождались, видоизменяясь, чтобы снова умереть.

Первое беллетристическое произведение, с которым Николай Гаврилович познакомил своих товарищей в Александровском заводе, носило название «Старина». Роман этот не уцелел, но содержание его в общих чертах известно по воспоминаниям Стахевича и Шаганова. В нем изображалось провинциальное общество начала пятидесятых годов. По словам Стахевича, беллетристический талант Чернышевского сказался в этом автобиографическом произведении наиболее выпукло и

сильно. Чувствовалось, что Чернышевский запечатлел здесь мысли, переживания и события, глубоко запавшие ему в душу в молодые годы.

Центральное место в романе занимало описание крестьянского бунта, подавленного силой оружия. В заключительной сцене рассказывалось, как скрывшийся и разыскиваемый властями предводитель бунтовщиков тайно явился переодетым мещанином к герою романа — Волгину. Между ними произошел короткий разговор, в конце которого Волгин неожиданно для собеседника наклонился к его руке и поцеловал ее. Затем Волгин содействовал устройству этого человека, добыв для него паспорт и небольшую сумму денег; тот поселился в каком-то городе в качестве мелочного торговца.

Трудно сказать, в какой мере переплетался в этом романе вымысел с действительными событиями и была ли в жизни Чернышевского именно такая встреча с главарем крестьянского бунта. Но в одном из писем Чернышевского есть прямое признание, что когда-то в молодости он, пренебрегая обычаем, поцеловал руку мужчине.

Одно из наиболее выдающихся сибирских произведений Чернышевского уцелело и еще при жизни его было опубликовано за границу. Это роман «Пролог», вводящий нас непосредственно в гущу политической борьбы, разыгравшейся в конце пятидесятых годов во круг осуществления так называемой «крестьянской реформы» 1861 года.

«Пролог» является во многих отношениях образцом настоящего социального романа. Правда, рассчитывая напечатать роман в России, Чернышевский стремился завуалировать его подлинное содержание и еле сдерживаемую резкость направления. Но ненависть автора

к царизму и крепостничеству, презрение его к либеральным болтунам-«эмансипаторам», показавшим себя во всей красе в дни осуществления «крестьянской реформы», бьет через край в произведении, изображающем эту эпоху. В. И. Ленин, цитируя то место «Пролога», где герой романа Волгин убеждает своего друга в том, что нет никакой существенной разницы между «прогрессистами» и помещиками, писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер...»¹

«Пролог», кроме того, — ценнейший автобиографический документ, помогающий уяснению многих сторон личности и мировоззрения самого Чернышевского, его ближайших друзей: Н. Добролюбова, Сигизмунда Сераковского и других.

Происхождение фамилии главного героя — Волгин — прозрачно: родной город автора расположен на Волге. Описание внешности, манер и особенностей характера Волгина сразу наводит на мысль о самом авторе (Волгин близорук, щурит глаза, носит очки. Он работает, не разгибая спины. «Ни один литератор не пишет столько...», «Всегда работает целый день, как встал, так и за работу, — и до поздней ночи»). Заботы о жене («Тебе надобно иметь экипаж, пару лошадей...»), стремление подшучивать над собой, застенчивость, внешняя неловкость Волгина — все эти мелкие черточки, собранные воедино, сразу вызывают представление о Чернышевском, каким мы знаем его по многочисленным биографическим данным.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 263.

В самом «Прологе» есть места, прямо перекликающиеся с подлинным дневником Чернышевского 1852 — 1853 годов. Вспомним то место, где Волгин предупреждает свою жену об опасности, угрожающей ему со стороны правительства. «За мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаясь, поверь мне — одно может повредить тебе с Володею: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Но моя репутация увеличивается. Два-три года — и будут считать меня человеком с влиянием. Пока все тихо, то ничего... Но, как я говорил, и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашей свадьбой я говорил тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя...»

В последних строках автор прямо напоминает своей жене (ей и посвящен «Пролог») о тех давних разговорах с нею перед свадьбой, которые записаны им в дневнике. Облик Волгиной и взаимоотношения ее с мужем передают черты характера Ольги Сократовны и особенности семейных отношений Чернышевских.

Нетрудно убедиться и в том, что презрительное отношение Волгина к «реформаторам», болтающим об освобождении крестьян, его неоднократные высказывания об истинном смысле этих реформ в точности передают настроения самого Чернышевского в эту эпоху.

Роман приобрел портретную выразительность благодаря тому, что прототипами действующих лиц были настоящие враги и настоящие друзья Чернышевского — живые участники общественного движения шестидесятих годов.

Большинство героев «Пролога» давно уже названы своими именами. Мы знаем, что Левицкий — это Дობролюбов, что Соколовский — это Сигизмунд Сера-

ковский. В Сибири Чернышевский сам подтвердил Стахевичу, «что арест Сераковского в 1848 году и ссылка его в Оренбургские батальоны изложены им в романе совершенно согласно с действительностью, без всяких прикрас». Палач Сераковского — Муравьев-Вешатель — изображен в «Прологе» под фамилией графа Чаплина с изумительной силой и выразительностью. Умеренно-либеральный профессор Кавелин запечатлен в «Прологе» в лице салонного реформатора Рязанцева.

Чернышевский в «Прологе» настойчиво наводит читателей на мысль о бунте, о вооруженном восстании. В той или иной форме Волгин ставит вопросы о первой крестьянской революции в России (восстание Пугачева), о революции 1848 года во Франции, в Германии, о венгерском, о польском восстании и т. д. От этого произведения Чернышевского, как и от других его произведений, «веет духом классовой борьбы» (В. И. Ленин).

До сих пор еще не ясно, в какой мере выполнил Чернышевский свой замысел — дать трилогию, которая развернула бы перед читателями широкую картину общественной жизни пятидесятих-шестидесятих годов на основе автобиографического материала. Ведь до нас дошел лишь один роман из задуманного цикла — «Пролог», состоящий из двух частей. А между тем из воспоминаний современников видно, что обе эти части его являются отрывками какого-то большого целого.

Недолго продолжалась жизнь Чернышевского на «вольной» квартире. Через год он был снова водворен в тюремное помещение, где и прожил до самого отправления в Вилуйск в декабре 1871 года. Причиной тому послужил побег его товарища по каторге, бывшего полковника Красовского, осужденного на восемь

лет за распространение написанного им самим воззвания к солдатам-житомирцам с призывом не повиноваться приказам об усмирении бунтующих крестьян.

В отличие от других политических «преступников» Красовский был отправлен на каторгу в Сибирь не в сопровождении жандармов, на почтовых лошадях, а пешком, с обычным уголовным этапом, на общем уголовном режиме. Его путь в Нерчинский завод длился целый год...

В 1867 году он, подобно Чернышевскому, пройдя срок испытательности, был выпущен из-под стражи на «вольную» квартиру. Давно уже Красовский вынашивал план бегства. Получив на руки довольно крупную сумму денег, присланных ему, Красовский стал готовить побег. Он начертил карту китайской границы, раздобыл фальшивый паспорт, составил завещание, где объяснял свой побег опасениями снова очутиться в стенах каторжной тюрьмы, и 11 июня 1868 года бежал верхом на лошади. Через три дня в тайге нашли его тело с простреленной головой. Товарищи Красовского по каторге думали, что он был убит с целью грабежа местным казаком, предлагавшим ему свои услуги для побега. Однако они так и не узнали, что возле трупа Красовского была найдена его предсмертная записка, написанная кровью: «Я вышел, чтобы идти в Китай. Шансы для меня чересчур неблагоприятны. Я потерял ночью в дороге такие две вещи, которые непременно откроют мои следы. Лучше умереть, чем отдаться в руки врагов живым. А. К.». Потеряны им были записная книжка и план китайской границы.

Следствием этой истории было не только перемещение Чернышевского с «вольной» квартиры в тюрьму, но и принятие властями новых мер к предупреждению возможности побега великого узника.

Правительство тревожно следило за всеми его сношениями с внешним миром. Как только до властей дошли слухи о предположении Ольги Сократовны поехать в Александровский завод для свидания с мужем, петербургскому обер-полицмейстеру было дано секретное предписание противодействовать ее выезду.

На восемь-десять месяцев была прервана его переписка с женою до получения «предписаний» из Петербурга.

По одному из указов Александра II о политических ссыльных, осужденных до 1 января 1866 года, Чернышевский мог быть освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение еще в 1868 году. Но «льгота» эта не коснулась его. Напротив, по мере приближения окончания срока его каторги власти все более задумывались над изысканием способов продолжить его изоляцию.

Осенью 1870 года срок этот должен был наступить. Со стоической выдержкой и непоколебимым мужеством революционера перенеся каторгу, Чернышевский уже рассчитывал на возможность совместной жизни с семьею на вольном поселении в одном из сибирских городов. «10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей, — писал он в апреле Ольге Сократовне. — К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать попрежнему...»

А в это время составлялась «справка» о Чернышевском для Третьего отделения, каждый пункт которой разбивал его надежды: «1. Арестованный (по делу о группе бывших каракозовцев) Кунтушев показал, что в Петербурге и других городах постоянно делались сборы денег с целью доставить Чернышевскому средства к побегу из Сибири. 2. Несколько арестованных

принимало участие в тайном сбыте сочинений Чернышевского. 3. Фотографические портреты Чернышевского найдены при большинстве обысков. 4. В захваченной переписке «поклонение ему, доходящее до знания наизусть именно тех мест его сочинений, в коих сосредоточена суть его учений».

Управляющий первой экспедицией Третьего отделения Шульц представил в августе шефу жандармов Шувалову записку о литературной деятельности Чернышевского, где говорилось: «Усиленное брожение, возникшее в русском обществе после Крымской войны, было вызвано и поддерживаемо преимущественно журналистикой, которая проводила в массу читающей публики начала революции и коммунизма. Между журналами, действовавшими в этом направлении, первое место занимал «Современник»... он находился в руках небольшой партии молодежи, во главе которой стоял писатель талантливый, но до крайности увлеченный учением социалистов — Чернышевский. Вся его литературная деятельность была посвящена разъяснению и защите этого учения... Даже арест и предание его суду не имели на образ его мыслей влияние: в крепости он продолжал переводить политическую экономию Милля с примечаниями и написал известный роман «Что делать?», в котором в общедоступной форме излагал крайние коммунистические убеждения».

«Срок работ Чернышевскому кончился 10 августа, — гласила шифрованная телеграмма генерал-губернатора Восточной Сибири шефу жандармов Шувалову. — Если будет свободен, отвечать за целостность нельзя. Как поступить?»

Как поступить? 4 сентября 1870 года Шувалов доложил Александру II о своих соображениях относительно «неудобства» освобождения Чернышевского из

тюремного замка ввиду того, что Чернышевский, по своему влиянию, может сделаться центром революционного движения. Шувалов просил передать этот доклад на обсуждение комитета министров. Царь наложил на докладе резолюцию: «Исполнить согласно с соображением», а комитет министров, заслушав доклад, «пришел к заключению о необходимости: продолжив временно заключение Чернышевского в тюрьме... немедленно приступить к изысканию всех возможных мер к обращению Чернышевского в разряд ссыльно-поселенцев в такой местности и при таких условиях, которые устраняли бы всякие опасения его побега и... сделали бы невозможным новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению...»

Однако царское правительство было бессильно пресечь подобные «увлечения». Планы освобождения Чернышевского возникали от времени до времени в различных революционных кружках и у отдельных лиц. Одна из самых отважных попыток выволить из плена великого демократа, относящаяся к последнему периоду его пребывания в Александровском заводе, связана с именем выдающегося революционера-народника Германа Александровича Лопатина.

Это был необыкновенно смелый, энергичный и решительный человек, обладавший несгибаемой волей и исключительной находчивостью. У Лопатина, несмотря на его молодость (в 1870 году ему исполнилось двадцать пять лет) уже был некоторый опыт в делах такого рода. Незадолго до того он совершил удачный побег из заключения в Ставрополе. Затем он помог народнику Лаврову, находившемуся в ссылке, перебраться в Париж, а вскоре бежал за границу и сам. В Лондоне Лопатин познакомился с Карлом Марксом, который сразу же полюбил его и приблизил к себе. Здесь Лопати-

тин был избран в Генеральный совет Интернационала. Впоследствии Маркс говорил Лаврову, что редко приходилось ему встречать людей с таким глубоким умом, как его молодой друг.

Вскоре Лопатин приступил к переводу первого тома «Капитала» Маркса на русский язык. Но завершить эту работу он не успел, потому что как раз в это время у него созрело решение ехать в Россию, чтобы освободить Чернышевского. План этот возник у Германа Александровича под влиянием бесед с Марксом, который не раз с восхищением говорил своему молодому другу о великом русском ученом, томившемся в сибирской глуши. Слова Карла Маркса возбудили у Лопатина страстное желание возвратить миру великого человека.

«Мне казалась нестерпимой мысль, — писал много лет спустя Лопатин, — что один из лучших граждан России, один из замечательнейших мыслителей своего времени, человек, по справедливости принадлежащий к Пантеону русской славы, влачит бесплодное, жалкое, мучительное существование, похороненный в какой-то сибирской трущобе. Клянусь, что тогда, как и теперь, я бы охотно и не медля ни минуты поменялся с ним местами, если бы только это было возможно и если бы я мог возвратить эту жертвою делу отечественного прогресса одного из влиятельнейших деятелей; я бы сделал это, не колеблясь ни минуты и с такою же радостной готовностью, с какой рядовой солдат бросается вперед, чтобы заслонить собственной грудью любимого генерала».

Уезжая из Лондона в Россию, Лопатин скрыл даже от Маркса цель своей поездки, так как боялся, что Маркс сочтет план невыполнимым и будет отговаривать его.

В конце 1870 года Лопатин приехал в Петербург с паспортом турецкого подданного Сакича. Здесь он запасся картами Сибири и, добыв документы на имя Николая Любавина, выехал в Иркутск, выдавая себя за члена Географического общества, которому поручена ученая разведка. Он не знал в точности местонахождения Чернышевского, так как не был знаком ни с родственниками Николая Гавриловича, ни с его друзьями по «Современнику». Ему пришлось задержаться в Иркутске около месяца, пока он исподволь добывал необходимые сведения. В это время заграничная агентура русской полиции, разведав, что некий эмигрант тайно отправился из-за границы в Сибирь, поставила об этом в известность Третье отделение. 1 февраля 1871 года Лопатин был арестован в Иркутске.

Вскоре тревожные и смутные слухи о судьбе Лопатина дошли до Маркса, и он в письме к Н. Ф. Даниельсону 13 июня 1871 года поделился с ним своими соображениями по поводу предприятия Лопатина, старательно зашифровав сообщение об этом. «Наш друг» (то-есть Лопатин. — Н. Б.) *должен вернуться в Лондон из своей* торговой поездки. Корреспонденты той фирмы, от которой он разъезжает, писали мне из Швейцарии и других мест. Все дело *рухнет*, если он отложит свое возвращение, и сам он навсегда потеряет возможность оказывать дальнейшие услуги своей фирме. Соперники фирмы (то-есть царская полиция. — Н. Б.), уведомленные о нем, ищут его повсюду и заманят его в какую-нибудь ловушку своими происками»¹.

В это время Маркс еще не знал с точностью, что «торговая поездка» его друга уже потерпела крушение,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 122.

а сам Лопатин находится в руках «соперников фирмы».

Однако сибирская эпопея Лопатина на этом не кончилась. Жандармы понимали, что задержан опасный, опытный революционер. Они догадывались о цели его приезда в Иркутск, но никаких прямых улик на этот счет у них не было. Требовалось время, чтобы собрать о Лопатине достоверные сведения, а пока что единственным обвинением, которое могли ему предъявить, было лишь прежнее ставропольское дело.

Между тем Лопатин не бездействовал. Трижды совершал он смелые побег из-под стражи, и в конце концов на третий раз, в 1873 году, ему удалось все-таки ускользнуть из лап полиции и вырваться за границу. Дочь Маркса, Элеонора Эвелинг, рассказывала Лаврову, что Маркс, узнав о приезде в Лондон Германа Александровича, оставил работу, прибежал к ней, взял ее за руки и стал кружиться с нею по комнате — так обрадовало Маркса благополучное возвращение его молодого друга из опасной «торговой поездки» в Сибирь. А за это время в судьбе Чернышевского произошли большие перемены.

